

Я не поехал этой весной в Коктебель, однако неотлучно присутствую в нём. Здесь, на Тропарёвском холме, подобье моего кокона, из которого я высвободился и улетел. Раньше, когда отчуждался от Тропарёва, и Тая, Татьяна Петровна, священная Танакин, замечала это, она говорила:

— Твой мир там, антимир тут.

Сочувствие слышалось в её голосе, тогда как любая другая жена могла бы досадовать, обижаться, негодовать, бесноваться. Отнюдь не самопожертвенность проявлялась в Таяне, хотя она была наделена ею безмерно: проявлялось в ней благожелательство матери. Неуследимо для меня Тая снимала причины, из-за чего оставалась Москва, и я оказывался в Коктебеле.

Теперь Тая в горних пределах, и некому всеосвободительно отправить меня на берег Волошина. И всё же я там, неизбежно.

Куда-то подевался на годы археолог Гектор Антонович Виларас. Вот человек, душа которого повёрнута к Солнцу. Я думаю о Виларасе, выходя из комнаты в лоджию. Нынешним утром я созерцаю башню Генуэзской крепости, отделанную Гектором Антоновичем, и угадываю в ней кровное родство с кремлёвскими башнями. И едва облакачиваюсь на перила, Виларас возникает на мосточке в зазоре между кипарисом и пирамидальным шпилем. Позади Вилараса слепяще лучится море, тем и выделяет роскошно его седину и мерцание всегда горячих глаз, восторжен ли, скорбящ ли. Чем он старше, тем сизее, рельефней, приближённой его лицо к скалистости Пилы-горы, по-татарски называемой Сьюрю-Кая.

Виларас машет портфелем, вскинутым над головой, и кричит:

— Я у калитки.

Он только что из Симферополя, скушал о Коктебеле. Не терпится попасть в свою хижину, сколоченную на закрайке давно порушенного городища Тепсень. В хижине находки из припортовой лагуны Каллиеры, из Неаполя Скифского, из ям под Белогорском, где жили мустьерцы. Я слышал о тончайших вырезных рисунках мустьерцев на чёрных кремнях, но видеть их не довелось. Виларас беспокоится, как бы не опустошили хижину, даже тревожится о пифосах. Пифосы огромны, метра два высотой, стоят в узких круглых раскопах. Успокаиваю Гектора Антоновича: навряд ли у воров хватит сил вытащить пифосы. У него машинная тревога: подгонят кран с телескопической стрелой, и пропали пифосы.

Всеяческие эпохи случались на многогрешной земле Крыма, но столь проклятой эпохи — повального разворовывания — не было.

Берегом, где путь короче, Гектор Антонович не желает идти: противны обрести гаражей, сложенных из железобетонных блоков за Киловой горкой. Нувориши лишены и совести, и архитектурного вкуса.

Бредём через писательский парк, около шоссе, вдоль базарчика. Внезапно, наискосок от тиховейного кафе «Ветерок», обнаруживаем строение каверзного вида с претензией на виллу. Виларас отворачивается от него, а я не могу удержаться от хохота. Там-то, возле Киловой горки, тупорылые типы гаражей, а тут действительно образина виллы, наводящая на нежеланное соображение о чём-то крючкотворном, несправедном.

Спрашиваем прохожего, чьи, дескать, чертоги. Человек явно подзаряжен вином и расположен к подначке.

— Чертоги? Чертыхаться хочется, — и вдруг произносит знакомую фамилию: — Чертоги Юрченко.

— Валентина?

— Кого ж ещё?

— Ювелира?

— Его самого. Раньше славился на всю Россию ювелир Фаберже, теперь — Юрченко.

Досаду, переросшую в ёрничество, несли замечания прохожего. А во мне гнездились сожаление о Юрченко, которого я не встречал целую вечность. Жаление не сих пор бесполоило меня, и я рассказал

Гектору Антоновичу про случай, отяжеливший моё сердце так неустраимо.

Сибирский геолог, он вёл исследования одновременно с прокладкой Байкало-Амурской железной дороги, прислал мне кусок свежестроенного минерала на реке Чаре. С малолетства я поражён тоской по фиолетовому цвету, потому и жду, когда бузина разлепит первую листву и сирень распахнёт грозди. Сейчас, в Переделкине, фиолетовость начинается для моего взора с почек волчьего лыка. Я вдосталь наслаждался фиолетовостью, путешествуя по Индии. Какие фиолетовые сари, исходящие сиянием, я видел там на девушках и женщинах! Неуследимо для себя я устремлялся за ними. Что необычайно, они оказывались красавицами, и моя влюбчивость целомудренно сопровождала их.

Кусок чароита отличался мечтаемым фиолетовым оттенком: присущим персид-

к малахитам, сапфирам, аметистам, бериллам, лазуритам, опалам, хризопразам, турмалинам, цирконом. Он остался безразличен к моему доводу. Тогда я сослался на пример индийской чёрной звезды — камня глухого угольного тона, который после полировки проявляет астеризм, но который считался дешёвым самоцветом, а теперь, благодаря росту эстетического восприятия, его единят в брошах, кулонах, подвесках, перстнях с изумрудами и бриллиантами. Честь этого вкусового возвышения принадлежит японским ювелирам. И всё-таки он сохранил непреклонность.

Я взял у Валентина оправу для мужского перстня и с помощью алмазного диска и шарошки сделал кабшон из чароита. Полировка уярчила камень. Его фиолетовый овал поднялся в оттенке от персидской сирени до сочности цвета иудейского дерева. При этом ещё и проступила чуточ-

природы, в особенности самого не защищённого в ней, грациозного, красивого, как лани, лебеди, бабочки, распространит заповедность с Карадага на сам Коктебель, Солнечную Долину, Судак, Новый Свет и Старый Крым с прилегающими к ним бухтами, горами, лесами, оврагами. Коль скоро Артемида-девственница караля за покушение на целомудрие смертью, даже не пощадила Ориона, сына одной богини Земли Геи, то есть рождённого без посредства мужчины, — Орион посмел притязать на неё, свято чистой, — её культ будет сдерживать разложение аборигенов, вовлекаемых курортниками в блуд и соблазн праздности с отрочества. Поистине духовная натура, Оксана страдала наивным фанатизмом, без чего люди самоуничтожились бы от растленности. Неукоснительность её веры обычно принималась за гордыню. Не ведай об этом я, у нас не сложились бы отношения доверительной простоты.

Если я поклоняюсь женщине, то не обращаю внимания на её одежду. Помню лишь, в чём бы Оксана ни была, оставалось впечатление опрятности, стати, независимости, не располагающей к ухаживанию. (Имеется намеренно приманчивая независимость. И чем пакостней бездны похотливой женской особи, тем яростней независимость).

Весной при солнечном небе по северным склонам Карадага копится дымка. В ясных глазах Оксаны, умевшей скрывать своё горестное настроение, мне удавалось застигать такую дымку. И на этот раз я застиг дымку в её глазах.

— Перемена судьбы? — спросил я опрометчиво.

— Спасаясь, — почти невнятно ответила она, и я покался в себе самом.

О, она умела устранять дымку и обнаруживать весёлую волю.

— Дамы вашего круга творят легенды о пластической прелести чароита. Всё возможное най-

дено на поверхности планеты, а вечная мерзлота преподнесла геологам дар.

— И вам.

— Валя в убеждении — чароит в ювелирку не пойдёт. Ваши дамы хотя и устроили ему осаду, он считает — блажат, невежество, безвкусица.

Перстень находился в карманчике моей сиреневой польской распашонки. Я положил перстень на глянцевию ладонь Оксаны, изуроченную чётками морщинок. Во впадине ладони морщинки образовывали рисунок, повторяющий зубчатость Пилы-горы. Всегда светлы её зубцы, исключая безлунные ночи; есть молва — главный щит Крыма под этой горой.

Чего-чего, а девчонистой непосредственности я от Оксаны не ожидал. Она вскрикнула, приглядевшись к чароиту, и сразу переменялась: вместо дымки предгрозовое потемнение в глазах.

— Спасаясь? Не преувеличила. Я придумала около дюжины оригинальных перстней, подвесок, браслетов, бус. Ориентация на карадагские яшмы. Яшма парчовая, ковровая, огненная, пепельно-серая полна праздничной пестроты, кружеватости. Вы птичьё яшму знаете?

— Только слышал...

— Белая теплота оперения чайки. Белое в накрапах синих, чёрных, горчичных, сизых. Всё яшмовое уже в образцах. Да, обруч на голову, вставки — волынский хризопраз, аметист. Бери, Валя, повторай, усовершенствуй. Гонит штамповку. Штамповка уровня бижутерии. Перстни традиционно курортные, усеянные шариками, завитушками, кручёной сканью. Камушек ковчегом, местный халцедон, искусственный опал...



ской сирени.

Я не утерпел и в первые же коктебельские минуты отправился к Валентину Юрченко. Я был вознаграждён природой за свою фиолетовую страсть: цвели персидская сирень, иудейское дерево, тамарикс.

Валентин занимал комнату в цитовом домике на задах туристической базы «Приморье». Голубоватой дымкой полнилась комната, и в этой дымке, отыскивающей затхлой горчиной, сидел милый Юрченко. Шевелюра ковыльной пушистости, синеглаз. Матовая бледность лица была вдали от нездоровья. Он, пользуясь миниатюрной горелкой, сваривал из мельхиоровых шариков, листиков, колец, венцов оправу перстней. Я не подозревал, что выданные на прессе заготовки поставлены у него на поток. Крымские и московские ювелиры, с кем был знаком, обычно выковыливали оправу. Я подал Валентину чароит не без торжественности, зажатой сдержанностью, заранее готовой открыться восторгом на восхищение. Из приветливой улыбки Валентина, по мере того как он вертел чароит, протлевала скудность неприятия.

Он устроил чароиту быстрое до жестокости погребение:

— Камень непрозрачный. Структура слоистая. Окрас по нутру только дряхлым старухам. В ювелирку не пойдёт.

Зашоренным представлениям я не удивлялся. Большинство людей пользуется тем, что создано и окрепло до них; это и создаёт их убеждение, как своё собственное достижение.

Я причислил камень к исключительным самоцветам. При чарующей фиолетовости он был шелковист отливом, звёздчат, в жемчужном крапе, чем приравнял себя

но розовая волокнистость, по теплоте и воздушности совпадающая с той, которая бывает у тамарикса, распушающегося из колосьев.

На среднем пальце моей правой руки перстень гляделся с декоративным изыском. И я сказал Валентину: возвращусь в дом творчества, встану у балюстрады набережной, намеренно поигрывая перстнем, и ко мне начнут подпархивать писательские жёны и спрашивать, кто создал такое чудо, а я буду твердить: «Валентин Юрченко, кудесник ювелирки!» — и они потекут к твоей мастерской нишами, а вечером ты прибежишь за чароитом, но обрыбишься, понесёшь наказание за непробываемое сомнение.

Всё так и произошло, но уступчивости я не проявил.

Полуночью нечаянно я встретил Оксану, жену Валентина. Она стояла лицом к морю, прислонясь к стволу серебристого лоха. Лох выбирает почву, где другому деревцу не вырасти. Неимоверным, до корчи, усилием удалось лоху воздвигнуться около разрушенного храма богини Артемиды: ствол изгибист, буграст, ветви узлами, зигзагом. Вероятно, притягивал сюда Оксану обзор. Весь залив на виду: слева Волошина гора с лохом, склонённым над могилой Максимилиана и Марии, справа кентавр хребта Карадаг, близ которого, на мелководье, застыли скалы-парусники. Но, что точно, Оксана приходила на горку из-за поклонения Артемиде. Ей грезилась необходимость восстановить храм на сохранившемся цоколе. Сдавалось Оксане, коль сохранилась часть жертвенника, прокалинно-бурый очаг с выветренной копотью, значит, возобновление храма неизбежно. Культ Артемиды, спасительницы